

**Е. А. Ермолин**

**Постреволюция и Шаламов: историко-культурная инверсия  
и личноопытный романтический максимализм художника**

Работа выполнена по гранту РГНФ 12–03–00137

Претворение опыта историко-культурной инверсии в России XX в. в творческом сознании и художественном опыте В. Т. Шаламова.

**Ключевые слова:** историко-культурная инверсия, творческое сознание, художественный опыт.

**E. A. Ermolin**

**Postrevolution and Shalamov Historical and cultural inversion  
and maximalism romantic artist in personal experience**

Implementation experience of historical and cultural inversion in the twentieth century Russia in the creative mind and artistic experience V. T. Shalamov.

**Keywords:** historical, cultural inversion, creative minds, artistic experience.

Историко-культурологические идеи А. С. Ахиезера, по моим наблюдениям, еще не пытались соотнести с художественной практикой и самосознанием творческой личности в России. Думается, случай писателя Варлама Шаламова дает интересный повод осмыслить связь глобальных историко-софских интуиций и личного жизненного мира. В конечном счете, опыт Шаламова – предельно конкретное выражение одной принципиальной идеи А. С. Ахиезера о полярном несовпадении социального и культурного: социальное основано на ограничениях и запретах, культура же самокритична, многомерна, рефлексивна, альтернативна, она постоянно формирует утопии, основания, ориентирующие собственную деятельность на запрещенные отношения, на воспроизводство химер нежизнеспособных отношений [1].

Потрясения конца 1910–1920-х гг. рассматривались А. С. Ахиезером как делегитимизация прежней государственности, ее слом, сопровождающийся разрушением сложившейся социокультурной сложности, что, однако, по логике инверсии, привело к воссозданию традиционной системы на ее элементарно-примитивном уровне, авторитаризме с элементами прагматики. Однако в некий зазор, в момент, так сказать, разгула «коммунитас» (по В. Тернеру), «произошел выброс, вознесший к вершинам власти слабо реф-

лектирующих цели романтиков-доктринеров, умевших говорить народу именно то, что он хотел слышать от своего тотема. Романтизм был, однако, недостаточно эффективен для управления в расколотом обществе, и первый эшелон правящей элиты был истреблен следующим, который превратил в предмет утилитарного манипулирования не только мысль, но жизнь миллионов» [2, с. 13].

Незаконченные воспоминания Шаламова о Москве 1920-х гг. являются уникальным документом, запечатлевшим настроения социально ангажированного романтизированного авангарда (а это студенчество, мыслящая молодежь, юный политический актив столицы), его пафос и экстаз. Заметки Шаламова создают отчетливую картину основанных на идеале «соборности» (в культурософской модели А. С. Ахиезера) симпатий и интересов шаламовского круга. В них сразу появляется Лев Троцкий, провозгласивший, что молодежь – это барометр партии, и сам бывший барометром и компасом для юношества, зачарованного алыми далями перманентной революции, увлеченного идейной говорильней. «Каждому открывались такие дали, такие просторы, доступные обыкновенному человеку. Казалось, тронь историю, и рычаг повертывается на твоих глазах, управляется твоею

рукою. Естественно, что во главе этой великой перестройки шла молодежь. Именно молодежь впервые призвана была судить и делать историю». Эти ментальные явления, грозные события воспаленного сознания были свойственны многим из неординарных представителей шаламовского поколения, которым казалось, что у них в карманах хранятся ключи от неиссякаемого резервуара будущего времени. «Каждый считал своим долгом выступить еще раз в публичном сражении за будущее, которое мечталось столетиями в ссылках и на каторге». Так на исходе своих лет писал Шаламов о себе и своем окружении, о том моменте, когда он оказался в Москве, где в это время, как ему казалось, творилась история.

История выкосила юных мечтателей почти поголовно. А тот, кто выжил, предпочитал молчать. Вот почему мы так мало знаем о той революции, которую имеет в виду Шаламов, – о готовящейся, созревающей в головах, выпекавшейся в брошюрках и листовках *перманентной мировой революции*, по отношению к которой 1917-й год был только преддверием, только прологом.

Мировидение молодого Шаламова формируется футуристической устремленностью вперед, в будущее, в метаисторию. Он воспринимает мир как арену перманентной схватки старого и нового, а тот исторический момент, в который его угораздило выйти на освещенную прожекторами авансцену бытия, – как решающую кульминацию этой судьбоносной схватки, этого штурма небес.

Прошлое не стоило ничего. Настоящее было важным и значимым лишь в той мере, в какой готовило грядущее. В революционный пролом рутинной, каменной истории ищущему взгляду открывалась грандиозная, небывалая перспектива преобразования мира и человека. Это казалось достаточной компенсацией за утрату дарованной Богом вечности. Грядущее предстояло создать самому человеку без оглядки на Бога, отбросив, как ветошь, представления о греховности человеческой природы и принципиальном несовершенстве павшего мира. Это был безоглядный порыв к новым горизонтам человеческого бытия: в мир без страдания, без боли, без унижения и предательства; туда, где человек человеку бог.

Начинающий писатель едва ли представлял себе тогда, к чему приведет масштабная конвульсия человечества, свидетелем и участником которой он был. Известно, что оптимизма ему было не занимать. Надо думать, вступая в битву, он был готов к смерти, к жертве. Но едва ли он был

готов к такому быстрому, такому легкому поражению, врасплох застигнутому и обидно не замеченному почти никем со стороны. Полет и вираж Шаламова были оборваны катастрофически. Примерно так гибли в раннюю пору авиаторы, срываясь на своих фанерных машинах с небес на землю и ударяясь об ее твердь. Он писал потом: «Я был участником огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни». Одна эпоха закончилась, началась совсем другая. (Впечатляюще передан этот перелом в зачине романа Юрия Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара».) Революция оборвалась, и случившаяся мутация привела к реставрации унылой и ветхой деспотической старины, к новой вариации на темы человеческого рабства, человеческой низости и подлости. В этой московско-ордынской сталинской старине для Шаламова уже не было места.

Проза Шаламова бдительно несет память о врасплох нагрянувшей контрреволюции. Это – проза *постреволюции*. В ней преломляется кризисный, постреволюционный опыт автора. Писатель разбежался – и рухнул, оставшись, впрочем, жить, но – где-то вне нового порядка. Отдельно и одиноко. Его сознание было глубоко травмировано этой катастрофой, зачеркнувшей смысл его бытия. Шаламов оказывается очевидцем поражения в битве за историю, живым реликтом небывалых дней. Он – «троцкист»-недобиток, инвалид эпохи, обрубок человека (того человека, который жил только обманувшим, не наставшим будущим), оглохший и ослепший ко многому из того, что происходило вокруг.

Это опыт утраты будущего. И не только того лучезарного грядущего, о котором, надо полагать, мечталось юным идеалистам на обманчивой заре их туманной юности. А *всякого* будущего *вообще*. В принципе.

Будущего в новой жизни, в той реальности, которую описывает Шаламов, вовсе нет. Сезам закрылся, колодезь иссяк, поток пересох. Осталось одно сухое русло. Причем лагерная жизнь – не исключительна в этот аспект, в ней лишь предельно отчетливо проявляется более общая, генеральная закономерность социального бытия.

Утрата перспективы, однако, не придала сама по себе смысла ни текущему моменту, ни уже прошедшему. А потому человек у Шаламова безысходно зависает в безвременье. В его карманах пусто. Его запас – один-два дня. Сегодня, завтра, отсылы послезавтра. Это не счет будущего, это в лучшем случае злая пародия на такой счет, который прежде отмерял грядущее веками. Но и как

настоящее эти часы и минуты не имеют цены: выморочная, самодовлеющая жизнь. А потом приходит смерть.

Шаламову так и не пришлось оправиться от этой травмы. Он потерялся в бессмысленно длящемся безвременьи – и внутри него остался человеком 20-х, футуристических, раннемодернистских годов в сменяющихся декорациях мнимых (для Шаламова же – ветхих) времен, едва ли не в равной степени чуждых ему. А потому ему навсегда и достается роль *свидетеля и очевидца, носителя памяти о великом дерзании и великом провале*.

Шаламов – не мыслитель в традиционном смысле; его мысль никуда не движется, ничего не проясняет, не связывает и не разделяет. Ей и некуда особо двигаться, поскольку для нее нет не только будущего, но и вечности. Мысль стоит столбом, памятником катастрофы, как приснопамятная Лотова жена, зная, однако, о *неабсолютности существующего мироустройства, ущербности господствующего режима*.

Шаламов и не романист в обычном духе, подробно придумывающий длинную, полную всяких событий (как взаимовытекающих, так и случайных) биографию-авантюру – и сам в ней, ею живущий. Такая биографическая романистика не была дана ему в личном опыте. Он не верит в ее возможность и склонен считать пустой, ничего не значащей фикцией. Он – воплощенная травма истории, боль, живущая не куда-то вдаль, а только сама собой, здесь и сейчас. Мы видим здесь, что личное самосознание художника не улавливает логику истории, а лишь фиксирует ее драму. Это, нужно сказать, довольно характерный способ восприятия реальности в русской культуре XX в., позволяющий адаптировать случившуюся инверсию (по А. С. Ахиезеру) к «вечевым» и «соборным» предрассудкам-клише сознания. Оправдывает себя мысль о том, что «культурное творчество в результате ненаправленной экстраполяции, инверсионной ловушки, выдвигения утопий, чисто фольклорных идеалов в качестве социальной программы и т. д. постоянно предлагает человеку путь в пропасть, путь к снижению жизнеспособности. Попытки человека идти этим путем означают нарушение социокультурного закона. Это в конечном итоге оказывает через воспроизводственную деятельность субъекта давление разных масштабов и интенсивности на сложившиеся социальные отношения» [1, с. 372].

Можно ли так жить – и как бы не жить, длиться без длительности, существовать вне времени?

Этот парадоксальный способ самоопределения предопределяет явную *противоречивость духовного мира писателя*, которая, как представляется, осознана неполно. Противоречия эти порождены приростом жизненного знания, вступавшего в раздор с догмами прекраснотушной молодости. Не то чтоб жизнь брала свое, – но и замороженная молодая ригористичность не умела вкладывать большой и трудный опыт существования в те жесткие рамки, которые некогда были им себе назначены. Но, с другой стороны, эта контрабанда житейщины не могла хотя бы иногда не восприниматься писателем как составная часть того контрреволюционного наступления, того тупого и могоучего пресса, который был его главным врагом.

Итак, уже в прозе Шаламова разгоралась новая битва – и не всегда, кажется, сам автор желал дать себе отчет в происходящем. На некоторых основных противоречиях, создающих динамику шаламовской прозы, мне и хотелось бы далее задержаться.

Странно, что для всех или почти всех персонажей Шаламова желательнее жить хотя бы так, чем никак. Хотя бы вот так *никак*, чем вовсе не жить. В сто раз сильнее страдать, быть униженным, избитым, искалеченным, изнасилованным – но жить. Быть только абсолютно уже ничего не значащей фамилией, служащей только для учета (пока ты есть), – и жить. Человек убегает от смерти, принимая что угодно – но только не ее.

Никто у Шаламова, в его «постхристианском» мире, не воспринимает смерть с облегчением или радостью, как избавление от мук. Никто не решается и на самоубийство, потеряв смысл. Случай бывшего агронома Розовского («некто Розовский») в рассказе «Дождь» – исключение, подтверждающее правило. И именно в этом рассказе Шаламов неожиданно входит в роль философа-метафизика и подробно разъясняет то, как видится ему этот парадокс жизни во что бы то ни стало.

Хочется пожить еще. Писатель берется объяснить природу этого желания. Он записывает его на счет инстинкта самосохранения, «великого инстинкта жизни», переворачивая с ног на голову традиционное представление о взаимодействии духа и тела. «И я понял самое главное, что человек стал человеком не потому, что он божье создание, и не потому, что у него удивительный большой палец на каждой руке. А потому, что был он *физически* (курсив Шаламова. – Е. Е.) крепче, выносливее всех животных, а позднее потому, что заставил свое духовное начало успешно служить началу физическому».

Этот вклад Шаламова в антропогнозис контекстуально ложится в ту культурную тенденцию, которая натурализует сущность человека. Сказать по правде, ни идеи писателя, ни эта тенденция в целом не кажутся столь уж убедительными. Здесь происходит явная (и обычная для XX в.) редукция человека, низведение его к простым импульсам и стимулам. В ней есть свои резоны. Груз существования, суровый климат века требуют от человека упрощения до четкого и внятного поступка, короткого слова. Возникает новая простота и сущностная чистота, антипод культурной переусложненности начала двадцатого столетия, маскараду декаданса. Но упрощение упрощению рознь. В натуралистическом низведении человека до инстинктов и комплексов нет полной правды.

Шаламов не умеет, не желает помыслить о мистическом смысле неприятия смерти. Но такая сила честного свидетельства – мы не можем не чувствовать здесь какой-то знобящей тайны, которая против воли автора вдруг приоткрывается и говорит сама за себя.

Что значит эта инерция жизни без надежды, жизни, которая не имеет больше ни направления, ни смысла, хоть чем-то превышающего ее? Она означает, что не все у человека можно отнять.

Может быть, это единственная возможность проявить ту свободу, которая, казалось бы, навсегда, целиком и полностью отнята у бедных жертв Гулага? Наверное, так. Но не только в этом дело.

Человек продолжает ждать. Казалось бы, у него нет никакой надежды. Писатель запрещает персонажу надеяться и рискует утверждать, что надежда – самое плохое, что только есть. Она развращает и обманывает. Нет веры. Ждать нечего. Но ожидание является эмпирически необходимым фактом существования (как у героев «В ожидании Годо» Ионеско). Человек надеется, то есть удерживает свой конец нити, которая связывает его с кем-то. «Мне оставалось ждать, пока маленькая неудача сменится маленькой удачей, пока большая неудача исчерпает себя», – сказано в «Дожде». Может ли постреволюция себя исчерпать? Вопрос, казалось бы, чисто риторический. Но он все-таки задается. Значит, на него кто-то должен ответить. Но кто?

Шаламов не знает Бога, но Бог-то его знает. И потому он выжил, хотя должен был сто раз погибнуть. В этой связи он придает особое значение удачному случаю, некоему року. Такой случай мелькает и в его рассказах, выручая иногда персонажей. Но случай, как сказал один мысли-

тель, есть атеистический псевдоним чуда. *А чудо есть Бог.*

Действительность, так или иначе передаваемая автором, сопротивляется его метафизическому убеждению [см. подробнее: 4].

Человек у Шаламова хватается за обрывки прошлого, нащупывает его бледный след, прислушивается к его эху. Он забывает все, а помнит свою фамилию. Зачем она ему? Или еще: цепляется за вещь, присланную когда-то женой, рискуя жизнью. Для писателя в этом есть почти комическая странность. Шаламов добывает отсюда зерна парадоксального юмора. Словно какая-то пружина распрямляется, чтобы отчетливой стали тщетность надежды и фантомность веры. Выданное героям прошлое, как правило, не заслуживает по логике нашего автора, пиетета. Так себе была жизнь – мелкая, суетная, скучная, пошлая. Но шаламовскому персонажу и такое прошлое требуется для того, чтобы удержать нечто, определяющее его идентичность, отдельность и единичность (а может, и уникальность).

Шаламов, если ему верить, никакого прошлого не имеет. Он от него отказался (и в жизни: конечно, по требованию родственников, но по сути – сам, ибо зачем ему, футуристу, вчерашние заботы?). Человек без вчерашнего дня. Но, если присмотреться, сам Шаламов, как бы он себя подчас ни концептуализировал, – человек с прошлым. За ним тянется шлейф судьбы. И не только по воле карающих за такое прошлое инстанций. Пусть Шаламов не дорожит *ничем*, что осталось за плечами, редуцирует контексты русской и мировой культуры, считая, что культура есть то излишество, та условность, которая в новой реальности отваливается, отсыхает. Это заплечье не становится оттого *ничем*. Оно остается *чем-то*. Шаламов отбрасывает прошлое, а оно возвращается бумерангом.

Далее. Шаламов утверждает монадность персонажа, его замкнутость в пределах собственного ускользающего и, может быть, эфемерного *я*. Человек то ли есть, то ли нет, но в той мере, в какой он есть – он бесконечно одинок. Он, возможно, представляет что-то для себя, но является пустой величиной для других. Его просто нет для ближнего – как что-то значащего существа. Евангельская заповедь о любви к ближнему теряет адресата. Связи людей случайны, мимолетны и обманчивы. «*Каждый за себя*», – как заклинание, повторяют писатель и его герои.

Но вопреки этому ригоризму существенную роль у Шаламова играют светлые моменты, когда люди приходят друг другу на помощь, когда вместо равнодушия и злобы проявляется в жизни опыт солидарности, сочувствия и милости к слабейшему. Суть не в «человеческой снисходительности» [3]. Когда в столярной мастерской пожилой рабочий Арнштрем дает доходягам, притащившимся с мороза, шанс выжить, он не снисходит к ним, а солидаризируется с ними. Ничто не мешает считать, что именно и прежде всего тут, в моменты взаимного участия и сказывается человек в его подлинности, в его настоящем содержании: как вектор коммуникации.

#### Библиографический список

1. Ахиезер, А. Россия: Критика исторического опыта. Том 1. Социокультурная динамика России [Текст] / А. С. Ахиезер. – 2-е издание, перераб. и доп. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997. – 804 с.
2. Ахиезер, А. С. Россия: некоторые проблемы социокультурной динамики [Текст] / А. С. Ахиезер // Мир России. – 1995. – № 1. – С. 3–57.
3. Волкова, Е. Цельность и вариативность книжечек // Шаламовский сборник. Вып. 2 [Текст] / Е. Волкова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.booksite.ru/fulltext/2sh/ala/mov/8.htm>
4. Ермолин, Е. Троцкист Шаламов и нацбол Прилепин [Текст] / Е. А. Ермолин // Северный край. – 2006. – 6 июня.
5. Шаламов, В. Т. Воспоминания [Текст] / В. Т. Шаламов. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель»: ООО «АСТОЛ», 2003. – 379 с.